

ИЗ ДНЕВНИКА 1950 ГОДА

„ТОТ, ЧЬЯ ЖИЗНЬ — СИМВОЛ”

Каждое личное существование держится на тайне.

Чехов, „Дама с собачкой”.

„Для чего я пишу все это? Чтобы еще раз перед моей смертью вовремя уничтожить? Или я хочу, чтобы мир знал меня? Я думаю, он и без того знает обо мне больше, <...> нежели мне в том сознается”, — пишет Томас Манн в своем дневнике 1950 года. В этих немногих строчках отразился весь психологический склад Томаса Манна: и постоянная оглядка на себя со стороны, сверхчувствительная рефлексия, способная даже в семьдесят пять лет накалиться до полного смятения, до порыва к уничтожению написанного; и столь же постоянное соотнесение себя с миром, приведение себя в порядок перед его незримым, но всезрящим оком; и новая оглядка — уже на собственную рефлексия, ироничное и мудро-скептическое ее осмысление; и, наконец, как результат — удивительная способность делать всеобъемлющие, объективные выводы из сокровеннейших субъективных посылок.

Приводя эту цитату из дневника, обычно ставят акцент на третьем вопросе („Или я хочу, чтобы мир *знал* меня?”) и спешат ответить на него утвердительно, чтобы подтвердить „благонравную” откровенность Томаса Манна. К тому же, вырывая отрывок из контекста, создают полную иллюзию, будто это — рефлексия по поводу ведения дневников вообще. Однако на цитату всегда найдется контрцитата из того же автора. Что же касается открытости Томаса Манна миру, то в сущности своей она едва ли вообще нуждается в доказательствах. Будучи писателем, он и так открыт миру как никто другой — в силу своего занятия, в силу того, что в творчестве „не о вас идет речь, вовсе не о вас... но обо мне, обо мне”¹. Поэтому во многом прав швейцарский писатель Адольф Мушг, который на вопрос, изменилось ли его отношение к Томасу Манну после прочтения его дневников, ответил, что „нет никакого „разоблачения”, никакой тягостной неловкости, раскрытие которой он не подготовил бы уже в своих произведениях: „„Признания” (в смысле дневники. — И. Э.) Томаса Манна, в конце концов, только тень того же Феликса Круля, раскрываемые им тайны не более „отвратительны”, чем прыщи на теле Мюллера-Розе (имеется в виду эпизод с актером Мюллером-Розе из пятой главы первой книги „Признаний авантюриста Феликса Круля”. — И. Э.). За „Розе” не скрывается никакого „Мюллера”: он и так Мюллер — как художник он и не может быть ничем иным, как „единым и двойким”, и Томас Манн заботился о том, чтобы не было конца этому искусству и не было никакого ускользания от него в дневник. Его „я” всегда — форма; в дневнике она ничуть не аутентичнее, чем в гётевском

¹ Манн Т. Собр. соч. в 10-ти томах, т. IX. М. 1959—1961, стр. 19. Далее при отсылке на это издание указываются том и страница римской и арабской цифрами в скобках.

утреннем монологе в „Лотте в Веймаре” или в стилизованном старонемецком Адриана Леверкюна”².

Конечно, в приведенном нами истолковании есть неприятный оттенок самоуверенной проницательности, которую ничем не удивишь и которой не откроешь ничего нового. И тем не менее сколь многие при его жизни никому не известные интимно-тайные переживания самого Томаса Манна инверсированы в его произведениях так, словно уже раскрыты и обнародованы; сколь незначительные, на первый взгляд, чисто бытовые и даже физиологические подробности перенеслись со страниц дневников в великолепную сцену пробуждения Гёте; и наоборот — будто бы позаимствованной из „Доктора Фаустуса”, в своей сумрачной строгости, кажется вот эта дневниковая запись: „...во исполнение давно задуманного уничтожил старые дневники”.

Запись датирована 21 мая 1945 года. А первое сожжение дневников состоялось в начале 1896-го; о нем, с некоторой даже лихостью, сообщает Томас Манн в письме своему другу О. Граутоффу: „Я сжег собрание моих дневников! — Почему? Потому, что они меня отягощали, стесняли и все такое <...> Советую и тебе предпринять подобную чистку. Мне лично это доставило удовольствие. Прошлое формально оставил позади и живи теперь бодро и без опаски в настоящем и будущем”³.

Огромное интонационное различие двух этих записей словно бы запечатлело прожитость и исполненность жизни и творческой эволюции. И в самом деле, два сожжения дневников обрамляют если не весь творческий путь Томаса Манна, то по крайней мере то главное, что было на этом пути, — эволюцию: самоосознание судьбы, развертывающееся в едином творческом пространстве. Вскоре после первой чистки дневниковых записей был создан „Маленький господин Фридеман” — первая из „канонических” новелл Томаса Манна и миниатюрное вместилище („Die Welt im Nuß” — „мир в орехе”, как говорят немцы) основных проблем его последующего творчества; а второе сожжение приходится на разгар работы над „Доктором Фаустусом” — последним произведением, написанным не по профессиональной инерции, не потому, что „я не могу ничего не делать” (дневник 1950-го), а под диктатом внутренней необходимости и духовного веления времени. Это совпадение и связь между участием дневников и творческой эволюцией представляются отнюдь не случайными. Связь эту смутно ощущал и сам Томас Манн, писавший в 1897 году О. Граутоффу: „С некоторых пор я словно бы расправил плечи, словно нашел способы и пути, как высказать, выразить, художественно изжить себя; <...> прежде я нуждался в дневнике для чуланчика, чтобы изливать в нем душу, теперь же нашел новеллистические, готовые для обнародования формы и маски <...> Я думаю, это началось с „Маленького господина Фридемана””⁴.

Дневник выступает здесь как некий антагонист художественной объективизации, как бы препятствуя преобразению личного в эстетически-объективное, и так оно, по всей видимости, и было. Судя по различным косвенным свидетельствам, в первую очередь письмам все к тому же Граутоффу, ранние дневники Томаса Манна являют собой взрывоопасную, так и просящуюся в огонь смесь личных излияний, пристрастных психологических самонаблюдений и художественных эскизов — плодов творческой фантазии, не введенной в русло воли к законченному целому. Подобный диарий не мог быть верным, скромным и незаметным слугой творческого процесса. Он неизбежно уводил часть творческой энергии на свои страницы, а главное, разбавлял интенсивность сублимации внутренних проблем и, не изживая, не перерабатывая эти проблемы в художественную существенность, оставлял их при

² Muschg A. Der erfüllte Anspruch. — In: „Was halten Sie von Thomas Mann?”. 18 Autoren antworten. Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frankfurt. 1986, S. 116.

³ Mann Thomas. Briefe an Otto Grautoff (1894—1901) und Ida Boy-Ed (1903—1928). Frankfurt. 1975, S. 70.

⁴ Ibid., S. 97.

личности. Словом, он был как творчески, так и жизненно, экзистенциально непродуктивен. В статье „Бильзе и я” Томас Манн приводит слова „одного поэта и мыслителя”: „Художник, который не отдает себя всего в жертву, — никому не нужный раб” (IX, 19). Нам представляется, что именно „дневник для чуланчика” не позволял Томасу Манну принести всего себя в жертву, оставляя его до некоторой степени „рабом” собственной жизни. Поэтому сожжение ранних дневников, будучи актом во многом символическим (разумеется, в Италии в 1896 году Томас Манн сразу же завел новый дневник, характер которого изменился не в одночасье и даже не в один год), ознаменовало тем не менее поворот к продуктивности как императиву, который на тот момент был Томасу Манну необходим.

Что касается второй расправы над дневниками, то здесь главная загадка в том, почему это случилось в 1945 году, а не десятилетием раньше или позже. Томас Манн предрешил участь своих доэмигрантских дневников в 1933 году, после событий, к которым мы еще вернемся, и тем не менее многие годы никак не решался привести приговор в исполнение. Почему? Биограф Томаса Манна и издатель его дневников Петер де Мендельсон попытался объяснить это отсутствием подходящего инструмента казни. Для сожжения такого количества бумаги, пишет он, недостаточно обычного камина — необходим incinerator, мусоросжигательная печь, а она оказалась в распоряжении Томаса Манна только в Калифорнии, во дворе его дома в Пасифик Пэлисейдс. Это довольно странная идея. Образ Томаса Манна, разыскивающего по всему свету в течение двенадцати лет мусоросжигательную печь, настоятельно призывает нас найти другое объяснение этому факту. Тем более что одно звено из цепи причин лежит как будто бы на поверхности: на третий день после сожжения дневников Томас Манн должен был отправиться в длительную поездку по восточным штатам. Ему пришлось бы взять дневники с собой, как это и бывало с тех пор, как он оказался в изгнании. Но тут, видимо, следует принять во внимание и еще одно обстоятельство — совершенно особого, иррационального, хотя и по-своему „математического” порядка. „В эти майские дни <...> нервное переутомление” Томаса Манна „доходило порой до полного истощения сил” (IX, 282). Кроме того, ему было семьдесят, и шел 1945 год — цифровое сочетание, полное значения для крайне чуткого к подобным совпадениям и вообще к цифрологии Томаса Манна. В 1930 году в „Очерке моей жизни” он писал: „День празднования знаменательной годовщины нашего союза (двадцатипятилетия брака с Катей Принсгейм. — И. Э.) уже совсем близок. Он приходится на год, в цифровом своем выражении заканчивающийся числом, знаменательным для всего моего бытия: в зените некоего десятилетия появился я на свет; между серединами десятилетий прошли пятьдесят лет моей жизни, женился я на середине десятилетия, спустя полгода после того, как оно перевалило за половину. Моя приверженность математической ясности согласна с этой расстановкой, как и с тем, что мои дети появились на свет и свершают свой жизненный путь в трех созвучно-хороводных, парами расположенных сочетаниях: девочка — мальчик, и мальчик — девочка, и девочка — мальчик”. В этом отрывке есть, безусловно, элемент игры в духе „Иосифа...”, над которым Томас Манн в ту пору работал, — однако игры достаточно серьезной. Самое же главное то, что в конце этого абзаца речь заходит о предмете вовсе не игривом и даже не игровом: „Я полагаю, что умру в 1945-ом году, в возрасте моей матери” (IX, 143).

Томас Манн ошибся в дате своей смерти: он умер в 1955 году, — но тоже „в зените некоего десятилетия”, так что ошибка эта не принципиальная, а чисто математическая, то есть ошибка лишь наполовину. Судьба дала ему не только дописать „Доктора Фаустуса”, но и подарила еще десять лет жизни. Однако в 1945 году Манн, по всей видимости, писал „Фаустуса” как свою последнюю книгу, как исполнение предназна-

чения и судьбы, боясь не успеть закончить ее. Напряженная работа вызывала нервное переутомление, нервное переутомление — истощение сил, а последнее, в свою очередь, наводило на невеселые размышления. Не случайно „в эту обычно столь благотворную” для Томаса Манна „майскую пору в дневнике появляются записи о посещениях рентгеновских лабораторий, о врачебных осмотрах, об анализах крови, об исследованиях отдельных органов <...> тела — впрочем, с успокаивающе отрицательным результатом” (IX, 282). Разумеется, Томас Манн не был фанатичным фаталистом; если он отчасти и был фаталистом, то скорее ироничным; тем не менее все же, видимо, решил не рисковать с предназначенными огню дневниками и 21 мая отправил их в тот самый „наконец-то найденный” в Америке incinerator.

Что касается событий 1933 года, о которых мы упомянули выше, то они уже описывались Марком Харитоновым на страницах „Иностранной литературы”, поэтому расскажем о них здесь лишь в самых общих чертах.

11 февраля 1933 года Томас Манн отправился из Мюнхена в Амстердам, совершенно не подозревая, что этот отъезд станет началом его эмиграции. Путешествие планировалось как вполне обычная для Томаса Манна поездка, в ходе которой он должен был прочесть в трех европейских городах доклад о Вагнере, а затем собирался отдохнуть на швейцарском курорте Ароза (том самом, благодаря которому возник в свое время замысел „Волшебной горы”). Однако переворот, произошедший за этот месяц в политической жизни Германии, заставил писателя отложить свое возвращение.

Между тем все его дневники оставались в Мюнхене. Испытывая нарастающее беспокойство за их судьбу, Томас Манн попросил своего сына Голо переправить рукопись в Швейцарию. Вот здесь-то эта история и приобрела детективный оттенок. Когда дневники были уже упакованы, Ханс Хольцнер, шофер Маннов, уже некоторое время, как выяснилось впоследствии, работавший на нацистов осведомителем, предложил Голо свои услуги в доставке чемоданов к швейцарской границе. С согласия ничего не подозревающего Голо Манна Хольцнер вечером 10 апреля отвез дневники, полагая, что они содержат „нечто политическое”, прямо в мюнхенскую штаб-квартиру нацистской партии.

Между тем Томас Манн получил от Голо известие о „благополучной” отправке чемоданов, и началось напрасное ожидание прибытия дневников в Швейцарию. Только в конце апреля для Томаса Манна постепенно стала вырисовываться истинная картина.

Эти недели ожидания стали серьезным испытанием для Томаса Манна. Глубоко личные, не предназначенные для чужих глаз откровения и факты его жизни — жизни, которая, по его словам, „нуждается в тайне” (дневник 1950-го), — оказались в руках чужой и враждебной силы. Все, что маскировалось в „дискретных формах” его творчества, что служило материалом для преобразования, могло теперь стать материалом для компрометации лично Томаса Манна, могло быть открыто всему миру с пропагандистским бесстыдством и жестокостью. Не нужно было быть семи пядей во лбу, достаточно было только внимательно просмотреть несколько тысяч страниц, чтобы из выборочных дневниковых записей составить тот образ Томаса Манна, который был желателен фашистской пропаганде. Должно быть, именно эти тревоги владели Томасом Манном, когда он записывал в дневнике: „Мои опасения относятся сейчас в первую очередь, и почти исключительно, к этим покушениям на тайны моей жизни. Они мучительны и глубоки. Ужасное, даже смертельное может случиться” (30.4.1933). К этому примешивалась и „непредставимость возвращения в Германию”, и шаткость, чисто экономическая ненадежность существования в Швейцарии. После одной из бессонных ночей Томасу Манну нужно было осмотреть дом — сдававшееся внаем за 3000

франков жилище. „Я чувствовал себя плохо, а осмотр дома, после которого у меня со-
здалось отвратительное и угнетающее ощущение деклассированного существования,
еще ухудшил состояние моих нервов, <...> вплоть до слез” (3.5.1933).

Неужели действительно так „отвратительно” и „деклассированно” мог выглядеть
дом, подысканный специально для Томаса Манна? Думается все же, что неотступная
мысль о дневниках наложила отпечаток на это впечатление и словно бы вернула То-
маса Манна из эмоциональной сферы „Иосифа и его братьев” на страницы его ранних
новелл, где „отвратительность” и „деклассированность” идут рука об руку — под зна-
ком разоблачения и унижения.

„Смертельного” все же не произошло. Ситуация в конце концов благополучно
разрешилась — отчасти благодаря усилиям адвоката Хайнса, вызволившего рукописи
из нацистских архивов, отчасти же, полагаем мы, благодаря везучести самого Тома-
са Манна. В конце мая дневники вернулись к их владельцу в целости, хотя и, на его
взгляд, слегка „обшаренные”. Тем не менее окончательная судьба этих записей была
предрешена: слишком много тяжелых часов они доставили их автору.

Тогда же, в марте 1933 года, в Швейцарии Томас Манн завел новый дневник.
Именно эти дневники 1933—1955 годов — дневники его эмиграции, — а также четыре
тетради с записями 1918—1921 годов, понадобившиеся писателю во время работы над
„Доктором Фаустусом”, а затем, видимо, забытые им среди других бумаг и благодаря
этому сохранившиеся, и выходят с 1977 года по настоящий момент во франкфуртском
издательстве „Фишер”⁵, с которым Томас Манн был связан еще с прошлого века — со
времен работ над „Будденброками”. По количеству томов и их объему это издание
приближается к манновскому собранию сочинений; да, собственно, это и есть второе,
параллельное собрание его сочинений, по-своему освещающее первое, и главное, и
расставляющее в нем новые акценты. Дневники Томаса Манна — это огромные строи-
тельные леса, возведенные вокруг собора его творчества, однако задача их не столько
в том, чтобы облегчать строительство, сколько в том, чтобы посредничать между су-
ществующим в самом себе „автономным” миром созидания и неоформленной, теку-
щей жизнью, прежде всего — жизнью собственной.

„Кто такой писатель? Тот, чья жизнь — символ”, — писал Томас Манн в 1910 году
в статье „По поводу „Королевского высочества””. „Я свято верю в то, что мне достаточ-
но рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество...” (IX, 35—36).
Эти слова звучат как апология творчества, в них, безусловно, сконденсировались тра-
диционные классические представления о художнике как преображающем зеркале
эпохи, медиуме и „глашатае истин вековых”. Однако есть в них и другая — тревожа-
щая, драматическая, индивидуально-жизненная — сторона. Она о том, что, становясь
вместилищем большего и высшего, сама жизнь писателя вытесняется на периферию,
становясь все более символической, репрезентативной, иллюзорной. Этот момент То-
мас Манн всегда ощущал с особой остротой (хотя всегда умел находить ему „высшие”
оправдания и объяснения). И именно поэтому его дневники тщательно, порой даже
педантично, фиксируют все сугубо фактическое в его жизни; они поддерживают в нем
реальное чувство собственного, индивидуального, не символического существования.
Томас Манн вел эти записи практически каждый день, ежевечерне фиксируя все его
составляющие: очень часто — сон (если со сновидными, то с какими) и время про-
буждения, почти обязательно — погоду, изредка — детали утреннего туалета, завтрак,
обязательно — корреспонденцию, почти всегда давая краткую характеристику полу-
ченным и написанным письмам, прочитанное, собственную работу — одной-двумя
строчками. И дальше — как покатился день, какие он вызвал мысли и чувства; ни-

⁵ Mann Thomas. Tagebücher 1933—1934; 1935—1936; 1918—1921; 1937—1939; 1940—1943; 1944—1946; 1946—
1948; 1949—1950; 1951—1952. Hrsg. v. P. de Mendelssohn, Tagebücher ab 1944 von Inge Jens. Frankfurt a. M. S. Fischer.
1977 ff.

какой выборочности, все, как есть. В этом, с одной стороны, упорядоченность и система, писательская, по сути, работа над жизнью, с другой же — попытка хоть как-то уберечь эту жизнь от поглощающего ее писательства, сопротивление, оказываемое символическому и репрезентативному, не обремененному бытовыми заботами писательскому существованию. „Я люблю запечатлеть отлетающий день в его духовных и отчасти чувственных проявлениях” (дневник 1933 года). Примечательно, что „дню” здесь дан эпитет „отлетающий”, „улетучивающийся”. Он и в самом деле улетучится, растворится без следа в пространстве работы, если не сохранить и не запечатлеть его. Это противоречивое единство — жертвование жизнью творчеству и спасение жизни от творчества — во многом сродни центральной проблематике произведений Томаса Манна — проблемам отношений „духа” и „жизни” или противоречию между „честью духа” и „честью плоти”, как это названо в „Иосифе и его братьях”, там, где говорится о страсти Мут-эм-энет. И, безусловно, у Томаса Манна были не только художнически типические, но и сугубо индивидуальные причины ощущать это противоречие с особой остротой.

В ежевечерних записях Манна нередко встречаются впечатления и раздумья, вызванные перечитыванием собственных, порою очень давних, дневников. На этих страницах Томас Манн приоткрывает дверь в иную реальность своей души, в скрытое и скрываемое и тем не менее необычайно значимое для него измерение своей внутренней жизни. Это измерение существует как бы независимо от его писательства, от фактов и этического склада его жизни и творчества и, на первый взгляд, параллельно им и даже несовместимо с ними; и тем не менее именно оно создает то поле напряжения, под знаком которого в его творчестве вступают между собой в противоречие „честь духа” и „честь плоти” и, наоборот, совмещаются ирония, сентиментальность и строгий протестантский этос. Это — сфера его гомосексуальных склонностей, или, как он сам называет ее в дневниках, сфера „страсти”.

Именно вокруг нее и возникла с начала публикации дневников та атмосфера скрытого ажиотажа и одновременно умолчания, из которой обычно и рождаются всякого рода скороспелые представления, превращающиеся через пару поколений в устоявшееся „общественное мнение”. Люди, не читавшие дневников Томаса Манна, но что-то от кого-то слышавшие о них, проникаются убежденностью, будто в этих записях задокументированы конкретные „разоблачительные” факты; а представители сексуальных меньшинств, задетые сдержанностью специалистов, сами становятся исследователями Томаса Манна и с увлечением отыскивают — ибо ищущий всегда обрящет — „стигму гомосексуальности” в каждом из его произведений.

Мы не относимся ни к тем, ни к другим, а только лишь к тем, кого „исключительность человеческого существования захватывает безраздельнее, чем любой другой объект и любое обобщение”. Поэтому, читая дневники Томаса Манна, мы не можем увидеть в них ничего сверх того, что написано, но и не можем не увидеть того, как важна эта эмоциональная сфера для самого Томаса Манна, с каким вниманием и бережностью относится он к ней, время от времени как бы извне оценивая ее „неправильность”, но при этом не стыдясь ее, а ощущая как некий центральный, хотя и скрытый, мотив своей судьбы, как внутренний стержень своей эмоциональной жизни.

„Вчера вечером допоздна засиделся за чтением старых дневников 27/28 годов, возвращающих в пору пребывания К. Х. в нашем доме и моих поездок в Дюссельдорф. Я был глубоко взволнован и растроган взглядом назад, на это переживание, которое сегодня представляется мне принадлежащим другой, более сильной жизненной поре и которое я храню с гордостью и благодарностью, поскольку оно было неожиданным исполнением страстного влечения к жизни, — „счастьем”, как это значит в книге человечества и человечности, <...> поскольку воспоминание об этом означает: „и я тоже”.

Особенное впечатление произвело на меня то, что и тогда, в пору этого исполнения, я вспоминал о раннем, об А. М. и следующих за ним, и все эти переживания воспринимал как вовлеченные в это позднее и удивительное исполнение, как наполненные, примиренные и исправленные им.

Сегодня поднялся в 8. Вечернее переживание, вызванное жизненными воспоминаниями, воздействует серьезно и значительно” (дневник 1934 года).

Эти ночные мысли не отчуждаются, не вытесняются, не предстают чем-то постыдным в трезвом дневном освещении, но „воздействуют серьезно и значительно”, питая глубоким и незримым потоком явное и видимое всем репрезентативное существование.

Люди, игравшие столь важную роль в эмоциональной жизни Томаса Манна, обозначены в дневниках инициалами или по имени, но у всех у них есть еще и другие имена, под которыми они существуют в мире литературы: „Первый, Армин, спился вскоре после того, как возмужалость разрушила его обаяние, и умер в Африке. Ему — мои первые стихотворения. Он живет в „Тонио Крегере”, Вилльри — в „Волшебной горе”, Пауль — в „Фаустусе”. Все эти страсти обрели некое увековечение. Клаусу Х., одарившему меня наибольшим исполнением, принадлежит вступление к эссе об „Амфитрионе”” (16.VII.1950).

Армин — это школьный товарищ Томаса Манна Армин Мартенс; в „Тонио Крегере” он „живет” под именем Ганса Гансена. К той же школьной компании принадлежал Вилльри Тимпе, чей карандаш Томас Манн хранил у себя до последних лет (см. запись от 15.IX.50). Этот карандаш в романе „Волшебная гора” Ганс Касторп одалживает у своего одноклассника Пшебыслава Хиппе, чтобы затем вернуть его Клавдии Шоша. (Литературоведы фрейдистского вероисповедания вкладывают в операцию с передачей карандаша свой, однозначный смысл, о котором читатель при желании может догадаться сам.) Пауль в „Фаустусе” — это художник Пауль Эренберг, с которым Томас Манн был дружен в начале столетия. Он перевоплотился в скрипача Руди Швердтфегера — друга и жертву Адриана Леверкюна, однако этим его функции в манновском творчестве не исчерпываются. „Искал в старых записных книжках <...> и углубился в заметки, которые я делал тогда в связи с замыслом романа „Возлюбленные” о моих отношениях с П. Э. Страсть и меланхолическое психологизирующее чувство того отзвучавшего времени заговорили со мной доверительно и с жизненной печалью. Тридцать лет и даже больше прошло с тех пор. <...> Я уже возвращался к заметкам о страсти того времени, описывая страдания Мут-эм-энет, чью беспомощную одержимость я отчасти благодаря этому сумел воссоздать” (6.V.34).

Здесь мы встречаемся с удивительным феноменом манновского творчества — с тем, как, живя в своем герое, он внезапно перевоплощается в его искусителя, в преграду, в женском ли — как здесь, в „Иосифе и его братьях”, — мужском ли — как лорд Килмарнок в „Признаниях авантюриста Феликса Круля” — облики стоящую на единственном извилисто-истинном пути героя.

Вернемся на некоторое время к последней процитированной записи. Томас Манн продолжает далее: „Переживание с К. Х. было превосходящим, более зрелым и счастливым. Но потрясенность, о которой говорят решительные интонации заметок поры П. Э., <...> это было все-таки лишь однажды в моей жизни — как, пожалуй, и должно быть. Ранние переживания с А. М. и В. Т. отступают далеко в отроческое, а то, с К. Х., хотя и было поздним счастьем, носившим характер жизнеблагого исполнения, — все же в нем отсутствовала юношеская интенсивность чувства, то возвышенно-ликующее и глубоко потрясенное, что определяло центральное переживание моих 25-ти лет. И это, пожалуй, по-человечески нормально, более того, именно эта нормальность вовлекает мою жизнь в каноническое подлиннее, чем брак и дети”.

Эта мысль Томаса Манна и верна, и строптива одновременно. Верна потому, что, с точки зрения жизненного максимализма, брак Томаса Манна, репрезентативная сторона его личной жизни, что ни говори, конформизм, неподлинное существование, подделка. И в то же время протестовать против этой подделки, разоблачать ее, открывать на нее глаза — это строптивость, чреватая подрывом самих основ библейской этики и европейского существования, жизненным волонтаризмом, на который „тот, чья жизнь — символ”, не имеет права. Эта внутренняя дилемма сродни той мировоззренческо-политической, перед которой Томас Манн стоял во время и после первой мировой войны.

С одной стороны, его протест против надвигающейся — неподлинной — цивилизации в „Размышлениях аполитичного” был глубоко верным, с другой же — он был обреченной и непозволительной строптивостью, чреватой опаснейшими духовными последствиями, свободой, ведущей к трагической и даже позорной изоляции, необратимому разрыву с гуманизмом — к тому, что познал на себе столь близкий Томасу Манну по духу Эрнст Бертрам, к тому, наконец, что вышло с манновским Адрианом Леверкюном.

И все же Леверкюн был самым любимым, близким и интересным для Томаса Манна из всех его героев. Так же, как и взгляды времен „Размышлений аполитичного”, о которых уже в последние годы жизни Томас Манн говорил в письме Фердинанду Лиону: „Фашизм <...> ухитрился сделать меня на время странствующим оратором демократии — роль, в которой я казался себе довольно чудным. Я всегда чувствовал, что в пору моего реакционного упрямства в „Размышлениях” я был куда интересней и дальше от плоского” (13.III.52). Далее он, однако, замечает: „Правда, когда имеешь дело непосредственно с человеческими нуждами, интересность, по-моему, не так уж важна. <...> У меня, как ни глупо это прозвучит, есть явная склонность к доброте”⁶. Эта „неинтересная доброта” в переводе на язык того, о чем мы пишем, кажется, и есть репрезентативная сторона жизни Томаса Манна — его воззрения демократа и жизнь семьянина, создающие образцово-достойный, хотя и „немного стеклянный”, как он сам выразился однажды о Шоу, образ. Для самого же Томаса Манна, как явствует из его дневников, была важна вовсе не эта „неинтересная доброта”, а как раз „недобрая интересность” — не отец и супруг, а страстно, хотя и платонически, влюбленный гомо-эротик. Однако так же, как в дневниковых записях, эти расщелины страсти окружены необозримыми плоскогорьями ежедневного труженичества, так же и в творчестве Томаса Манна иррациональное поверяется и контролируется нравственной мудростью и разумом. „Недобрая интересность” Томаса Манна глубже его „неинтересной доброты”, однако последняя выше первой (причем, подчеркнем, обе категории — и высота, и глубина — заключают в себе здесь позитивную ценность); именно в таком соседстве и взаимоположении они предстают нам в его творчестве.

Однако и в творчестве, в художественных произведениях, даже за иронией порой слышится с трудом преодолеваемая нервозность и смятенность, и часто ирония сама и есть пытающаяся преодолеть себя смятенность. Сколь же болезненнее должно было сказываться это в действительной психической жизни, где высшее не только и не столько оформляло и воспитывало более глубинное, сколько подавляло и вытесняло его. Экстатическая или, наоборот, подавленная преувеличенность выражений чувств во многих дневниковых записях, их несоизмеримость с реальным поводом, туманно-многозначительные характеристики этих поводов — явное следствие и свидетельство такого гнета.

Особенно показательны в этом отношении записи, связанные с „К. Х.” — Клаусом Хойзером, сыном директора дюссельдорфской Академии художеств, гостившим у Томаса Манна в 1928 году. Исследователи Томаса Манна уже, можно сказать, прото-

⁶ Манн Т. Письма. М. 1975, стр. 315—316.

рили дорогу к К. Хойзеру, пытаясь выяснить у него, что же таится под определениями вроде „позднего счастья”, „исполнения тоски по жизни” и „прыжка в мечтаемое”. Ответом им было лишь недоумение человека, никогда ничего не подозревавшего о каких-либо чувствах Томаса Манна — этого респектабельного, забавно-педантичного, „чрезвычайно сдержанного” и „бесконечно дистанцированного” господина. И в этом нет ничего удивительного. В сфере „страсти” дневники Томаса Манна не свидетельствуют ни о каких фактах, а только об автономных, никаких реалий за собой не влекущих чувствах. О неподвижном, не ищущем жизненного воплощения „чувстве в себе”. Двойной гнет влечения и запрещающих протестантско-бюргерских этических установок заставлял Томаса Манна ощущать любое прикосновение, взгляд, рукопожатие, прощальный поцелуй, с особой, независимой от ситуации интенсивностью и остротой, так сказать, впитывая в свое чувство все, что возможно впитать. То, что было для него полно значения, вызывало в нем трепет и ликование, для другого могло быть просто автоматическим, ничего не значащим и вообще незамечаемым проявлением любезности или вежливости. И, что самое характерное, такое положение дел, это несоответствие, эта „некоммуникабельность” чувства отнюдь не смущали самого Томаса Манна. Ибо двойной гнет влечения и этики способен не только посеять в человеке раздор и смятение, заставить его страдать и корчиться в своих тисках — он способен также высечь в нем и чистое пламя платонизма, о котором в 1950 году, говоря, в сущности, о самом себе, Томас Манн скажет в статье „Эротика Микеланджело”: „Микеланджело никогда не любил ради взаимности, никогда не хотел и не мог в нее верить. Для него, истинного платоника, божество обитает в любящем, а не в любимом, который всего лишь источник божественного вдохновения...”, „Этот великий любовник любит самую любовь больше, чем то, на что она обращена”. Думается, именно в этом смысле следует и нам понимать Томаса Манна, когда, оглядываясь на переживание 1927—1928 годов, он называет себя „счастливым любовником” (20.II.1942). И как с немного наивной и торжественной прямоотой вдруг отказавшегося от всякой литературности большого писателя сказано в том же эссе о Микеланджело: „Да будет нам стыдно, если мы усомнимся <...> в высокой правдивости его понимания любви” (X, 465, 460).

В 1935 году, в очередной раз вспоминая „время Клауса Х.”, Томас Манн записывает в дневнике: „...последняя вариация любви, которая, пожалуй, уже больше не возгорится. Странно, счастливый, вознагражденный пятидесятилетний — и на этом всё. Гётевская эротическая стойкость до 70 лет — „всё барышни”. Но в моем случае, пожалуй, препятствия серьезнее и утомляешься раньше, не говоря уж о разнице в витальности” (14.9.35). Сопоставление себя с Гёте в который уже раз отозвалось „мистическим единством” с ним, и вопреки „препятствиям”, „утомлению” и собственной самооценке Томасу Манну предстояло еще в семьдесят пять испытать „гордость за свою, невзирающую на возраст, витальность” и силу своих чувств. Это случилось в 1950 году, в одну из летних европейских поездок Томаса Манна, в Цюрихе. Томас Манн „принял в галерею” своей внутренней жизни пятый, и последний, образ — кельнера цюрихского гранд-отеля „Дольдер” Францля Вестермайера. Дневники тех дней, которые мы с небольшими купюрами приводим ниже, не только описывают это длившееся почти два месяца переживание, но и позволяют нам проследить самые разные стратегии творческого преображения этого события внутренней жизни: патетическую самоидентификацию с великим прообразом в „Эротике Микеланджело”, созданной в августе того же года под впечатлением лирики великого итальянца и собственной страсти; и ироническое дистанцирование, раскрепощающий перенос своего сокровеннейшего в перспективу чужого видения, тончайшую игру с обменом ролями в „Признаниях авантюриста Феликса Круля”, возобновленных также в конце 1950-го.

Дневник

Париж, суббота, 13.V.50. Отель Регина.

<...> В тот же вечер лекция в амфитеатре Сорбонны. 2000 человек. Бурный прием, речь Вермейля, Жюля Ромена, германиста Бушера. Четверть часа я говорил вступление по-французски, затем сокращенный для радио доклад. Овации. После этого небольшой прием с шампанским. — Журналисты. Газеты. Статья М. Бриона о „Фаустусе” — самое приятное. <...> — Эрика¹ привезла майский номер „Рундшау” с очень милыми пожеланиями счастья от Гессе и главами из Грегориуса². Много других книг, бумаг, картин. Ужин втроем в ресторане поблизости. Очень тепло уже несколько дней. Переутомлен. Бессонница и нервный кризис. Покой только к утру. Довольно, довольно. Французская языковая сфера осточертела. <...> — Отказался от журналистов и отклонил прием в „обществе литераторов”. Первую половину дня провел уединенно. Неполадки с машиной, которая тем не менее должна быть в понедельник готова к переезду через Страсбург в Цюрих.

Лугано, вторник, 23.V.50.

<...> — Приглашение от Гессе. — Поехали к ним в Монтаньолу. Вермут и обед с ними. Хорошая беседа. Его спокойное и знающее отношение к капиталистическому миру, положению дел в искусстве, коммунизму. Отдыхал в верхней комнате. Пили с ними еще чай. В саду. Котенок. Уехали около шести и прогулялись еще немного здесь, по променаду у озера. У торговца книгами и бумагой. Знакомый. Были у него в 1933. В гостях у Гессе: сильное ощущение возвращения той ситуации, при столь изменившихся обстоятельствах.

Лугано, среда, 24.V.50.

<...> — Воспоминания о посещении Кастильоне — через 17 лет. Тогда у бедняги Фульды. Что произошло и изменилось с тех пор в потоке времени. Сколькие умерли и испортились. На мою долю выпало и благословение, и много страданий; мировая слава, труд, боль. Мой дом стоит теперь в Калифорнии. Все очень странно, жизнь. Дивишься моей юности и работоспособности. Как глубока часто бывает усталость! — „Иван Ильич” Толстого. — <...>

Лугано, Пфингст — понедельник, 29.V.50.

Встал в половине восьмого. — Работа с рукописью. — Выезд с К.³ в Кампионе. — После обеда с К. и Эрикой к Гессе. Чай, торт, а позднее вино „Мартини”. Гессе хорошо одет и приятно болтлив. — <...>

¹ Эрика Манн-Оден (1905—1969) — старшая дочь Томаса Манна, актриса, журналистка и писательница.

² ...главами из Грегориуса. — „Грегориусом” или „Грегором” — по имени героя произведения — Томас Манн называет в дневниках и письмах свой роман „Избранник”.

³ К. — этим инициалом Томас Манн обозначает в дневниках свою жену Катю, урожденную Принсгейм (1883—1980).

Цюрих, понедельник, 5 июня 1950.

День выступления. Напряжение. Потокотом потекли письма, телеграммы и цветы. Записи для телевидения. — И так, в 8 часов в театр. Слушал за сценой вступительную речь Вельтерлина и опус 111 ⁴, исполненный Эггером. Был сердечно принят, вполне доволен своей речью. В конце долгих аплодисментов публика встала с мест. Ужин в Рюдене, организованный пен-клубом и театром. Речь Хельблинга ⁵, который чувствовал Ганно Будденброка и Непомука Шнейдевейна ⁶. Я благодарил. Счастливые вечера.

Цюрих, вторник, 6 июня 50.

Мой 75-й день рождения. Занятно. Праздничный день. Осыпан самыми радостными дарами. Нескончаемый поток телеграмм, писем, цветов. Смущение, удовольствие и усталость. Биби ⁷, Грет и мальчуган с поздравлениями. Фридо ⁸ прочитал премилое стихотворение Эрики. Интервью „Юнайтед пресс”. Любекская делегация, фрау Фермерен, сенатор Эверс, господин Марти ⁹. Явились полнейшим сюрпризом. <...> Более красивого, гармоничного, радостного хода праздника нельзя было себе и представить. В час ночи лег в постель.

Цюрих, пятница, 9.VI.50.

Продолжающаяся, возрастающая жара. Сегодня утром К. с легким багажом покинула отель и, сопровождаемая Эрикой, переехала в клинику Хирсланден. <...>

Цюрих, воскресенье, 18.VI.50.

<...> — Каждое утро разговор по телефону с К. План переселиться в отель Дольдер. Катина операция назначена на вторник. <...>

Цюрих, пятница, 23.VI.50.

Много горя и беспокойства из-за боли, которая мучает К. <...> Вчера к вечеру у нее. Она призналась, что позавчера, после того как она отослала Эрику и Голо ¹⁰, у нее был нервный приступ отчаяния. В последнюю ночь боль была меньше, но только меньше. <...>

Цюрих, Дольдер, четверг, 29.VI.50.

<...> — Газеты о Коре. <...> Разбирался с письмами. Отклонил полуофициальное предложение занять в Восточной Германии пост, на который был приглашен Генрих ¹¹. <...>

⁴ Опус 111 — фортепианная соната до минор, № 32, соч. 111 Людвига ван Бетховена, разбор и описанию которой посвящен большой раздел в главе VIII романа „Доктор Фаустус”.

⁵ Речь Хельблинга... — Карл Хельблинг (1897—1966) — швейцарский литературовед, автор первого швейцарского исследования о Томасе Манне („Образ художника в новейшей литературе”, 1922).

⁶ Ганно Будденброк и Непомук Шнейдевейн — наиболее яркие в творчестве Томаса Манна детские „ангелические” образы (оба умирают, не переступив порога юности).

⁷ Биби — домашнее имя младшего сына Томаса Манна Михаэля (1919—1977).

⁸ Фридо — сын Михаэля Манна Фридолин, прототип Непомука Шнейдевейна (Эхо) из „Доктора Фаустуса”.

⁹ Фрау Фермерен, сенатор Эверс, господин Марти — журналистка Петра Вермерен, однофамилица персонажа новеллы Томаса Манна „Тонио Крегер” Магдалены Вермерен, любекский сенатор Ханс Эверс, писатель Генрих Марти, потомок дяди Томаса Манна, ставшего прототипом Христиана Будденброка.

¹⁰ Голо — второй сын Томаса Манна, историк Ангелус Манн (1909—1994).

¹¹ ...приглашен Генрих. — Генрих Манн незадолго до своей смерти был приглашен на пост министра культуры ГДР.

Цюрих, Дольдер, понедельник, 3 июля 1950.

Снова ясный, жаркий день, хотя вчера вечером сверкали молнии. <...> Заглянул в роман Зегерс „Мертвые остаются молодыми”. Хорошее знание народа и простой жизни эпохи, переданное с помощью жаргона, окрашивающего никакой, в сущности, стиль. Без какого бы то ни было пренебрежения констатирую отсутствие всякого артистизма и языковой радости. Также и юмора, и пародии. Храни меня Бог от пренебрежения. Это действительно „социалистический реализм” и хорошее повествование. Но в сколь же большей степени я стою на „буржуазной”, „формалистической” стороне, сколь ближе оказываюсь к Джойсу и Прусту! Даже к Хаксли. При этом ощущаю игру, остроумие и иронию как вакуум и стыжусь моего незнания народной жизни. В конечном счете мое творчество — это паллиатив, с некоторой культурной привлекательностью. Сколько, однако, славы и даже благодарной любви сумело оно снискать! — Работа с рукописью. Небольшие корректуры в последней главе. — В полдень с К. После стола в зале с мистером Мампеллом из Америки. За столом разговор с Францем из Тегернзее¹², который время от времени обслуживал. Его родители живут там и ведут „собственное дело”, которое впоследствии перейдет к нему. Он очень горд тем, что знает Гангхофера, Тома и Слежака¹³. Спросил о его фамилии, которая, кажется, Вестермейер или что-то в этом роде, затем об имени, что главное. Что за милое лицо и какой приятный голос! „А это для вас”. Было бы очень естественным сказать ему „ты”. — Подголовники для моей кровати: важное усовершенствование. В полшестого поездка с Эрикой по Баден-Бернерштрассе к Салису в замке Брунегг. Собиралась гроза, но не началась. Общество Линдтбергов, Редеров и еще кое-кто. Вермут в саду. Неважный ужин в рыцарском зале. <...> Линдтберг рассказал мне о чудовищном русском фильме „Падение Берлина”. Высочайшее техническое мастерство и отличная игра актеров рядом с детской примитивностью. — При возвращении в одиннадцать нас еще ждал Файст. Ушел очень усталым и читал еще на ночь чванные сообщения о положении в Корее, позиции Лондона и т. д.

Пятница, 7.VII.50. Цюрих, Дольдер.

Со вчерашнего дня грохочущая дорожно-строительная машина перед домом. Очень мучительно. Встал в полдевятого. По телефону с К. Сообщил о вчерашних визитах. У нее боли после операции на груди. — Облачная погода. — Усталость со вчерашнего дня. Занялся всякого рода корреспонденцией. К рукописи не притрагивался. Днем у К. Приезд Терезы Гизе, которая после обеда (слишком долго) навещала К. Пока мы ждали времени визита к проф. Трауготту, небольшой разговор с Вестермайером, которого я давно не видел. Очень милый голос. Ему думалось, он должен мне сообщить, что „пришел Цукмайер”. Хотел бы остаться еще немного в Швейцарии. Хотел бы в одном из женеvских отелей <работать> „на кухне” и выучить французский. Эрика дернула меня за рукав в то время, как я еще смотрел в его лицо, и заставила меня обеспокоиться. Пожалуй, не следовало более затягивать этот разговор в зале, однако мне были вполне безразличны взгляды, которые, возможно, наблюдали за сердечностью моих прощальных кивков. Он наверняка заметил, что нравится мне. Я сказал, между прочим, Эрике, что симпатия к красивому пуделю не особенно отличается от этого и что это не более сексуально. Во что она не совсем поверила. — Стало быть, у Трауготта, его замужней дочери, его выросшего в Америке племянника. Привез профессору экземпляр „Фаустуса” с благодарственной надписью. Беседа не скучнее, чем любая другая. <...>

¹² Тегернзее — горное озеро и курорт на юге Германии.

¹³ ...знает Гангхофера, Тома и Слежака. — Людвиг Гангхофер (1855—1920) — баварский драматург; Людвиг Тома (1867—1921) — редактор журнала „Симплициссимус”, в котором Томас Манн опубликовал свои ранние новеллы; Лео Слежак (1873—1946) — австрийский тенор и киноактер. Первые двое умерли в Тегернзее.

Цюрих, Дольдер, суббота, 8.VII.50.

Раздумья о моих чувствах к юноше, в которых действительно много от любви к созданию. В желаниях не зашел далеко. Позабавила мысль, что тысячи могут наслаждаться коротким разговором как счастьем и наградой — из-за того, что им нечто примерещилось. Несправедливость жизненного выбора. Затем вспомнилось: „Кто глубины постиг, жизнью любитесь”¹⁴. Часто цитировал! — Ночью мне снилось, что Фридо, оказывается, девочка. Это было мне очень неприятно. — — Ясная, не слишком жаркая погода. Покончив с почтой (корректуры „Волшебной горы” для Вены), немного поработал над новой главой. Днем у К., чье выздоровление счастливым образом продвигается, хотя она нуждается еще в очень бережном обращении. — <...> Чувство к юноше затрагивает по-настоящему глубоко. Постоянно думаю о нем и пытаюсь подгадать встречи, которые легко могли бы стать стимулом. Его глаза слишком хороши, его голос слишком вкрадчив, и хотя мои желания не заходят далеко, все же моя радость, нежность, влюбленность полны энтузиазма и дают пищу на целый день. Я бы с удовольствием сделал ему приятное, помог бы с Женевоу или что-нибудь в этом роде. Расположение, которое я к нему чувствую, он наверняка давно уже заметил, — что, естественно, соответствовало бы и моим желаниям*. Никогда бы не подумал, что эта поездка принесет с собой нечто подобное. В прошлые — не было ничего „для сердца”. Попытался попить чаю на террасе, но передумал и прошелся прекрасной дорожкой по лесу, не встретив его ни на пути туда, ни при возвращении. Эрика между тем у К. С обеими шутя о нем и моей слабости к нему. — Возвращение Эрики с Терезой Гизе, которая отужинала с нами. Затем с нею в моей комнате. Много о Брехте, его театральном гении и, одновременно, путаном теоретическом доктринерстве. — В Америке частичная мобилизация, призыв, начало военной экономики. Легкий страх перед возвращением. Передовица Липшмана о разнице между Гитлером и Сталиным. Последний пытается избежать ошибок первого, и, в основном, тем, что дьявольским образом *соблюдает* договоренности. Очень забавно.

Цюрих, Дольдер, воскресенье, 9.VII.50.

Чудеснейшее, ясное, свежее утро. Мысли о юноше. Эта страсть все же не увлекает без остатка, — вот сегодня я не побрился вовремя и не приготовился, чтобы завтракать в саду в его присутствии. Боязнь, скрытность или просто уют? — Как обычно, пил кофе и взял к нему беллергаль^{**}. По телефону с К., которая на своей террасе восхищена прекрасным утром. Церковные колокола. — <...> Покончив с некоторыми другими делами и пространным письмом Рихнеру о его „эпиллионе”, немного поработал над главой. — <...> Чай на террасе с актером Кальзером. Усерден, начитан, увлечен. В сентябре должен играть Шейлока¹⁵, что вызывает в нем и гордость, и немалую тре-

¹⁴ „Кто глубины постиг...” — строки из стихотворения Фридриха Гёльдерлина „Сократ и Алкивиад”. Перевод В. Миклушевича.

¹⁵ Шейлок — персонаж комедии Шекспира „Венецианский купец”.

* Ср. с тем, как эта ситуация дистанцирована и увидена извне в „Признаниях авантюриста Феликса Круля” — в том эпизоде, где служащий официантом в парижском отеле герой сталкивается с чувствами пожилого шотландского лорда: „Голос у него (лорда Килмарнока. — И. Э.) был очень мягкий, и я старался *еще мягче отвечать ему*, лишь много позднее осознав, что *это было нехорошо с моей стороны*. Дымка меланхолической приветливости окружала этого, видимо, много выстрадавшего человека. Я не мог быть к нему жестокосердным. Я был очень приветлив, обслуживая его. *Но ему это пошло во вред* (курсив мой. — И. Э.). <...> С неделю наши отношения сводились к учтивым пустым разговорам, но затем я с удовольствием, не чуждым тревоги, убедился, что он проявляет ко мне участливый интерес” (VI, 475). (Примеч. перев.)

** Ср. в „Признаниях авантюриста Феликса Круля”: „Он (лорд Килмарнок. — И. Э.) курит, — подумал я, — хорошую сигару и запивает ее кофе. В высшей степени уютное занятие, а уют — все же малый сколок счастья. Временами приходится им довольствоваться” (VI, 480). Звучит, конечно же, довольно грустно: ведь этим „малым сколком счастья” взамен витального осуществления приходится довольствоваться не „временами”, а фактически всю жизнь. И все же сколь велика психологическая требовательность Томаса Манна к себе, если этот безобидный пассивный „уют” наедине с чашкой кофе не только подозревается в родстве с „боязнью” и „скрытностью”, но и открыто переносится в перспективу чужого ироничного видения. (Примеч. перев.)

вогу. Едва ли ему это по плечу. Я был возбужден, поскольку ожидал, что на террасе появится Ф. В. Однако его не было. Чувствовал себя не лучшим образом, тем не менее прошелся с Кальзером по лесу и разгорячил себя прогулкой сверх меры. — — *Итак, еще раз это, еще раз любовь*, восхищение человеком, глубокое влечение к нему — этого не было 25 лет, и все же это должно было еще раз со мной случиться. Вечером впервые юноша обслуживал столики вблизи нас. Профессиональная ловкость, учтивость и виртуозность движений. Обратил внимание на его недостатки: профиль едва ли заслуживает воспевания, в то время как в фас лицо выигрывает необычайно, а сдержанный, учтивый, окрашенный мюнхенским диалектом голос трогает „до глубины души”. Затылок несколько грубоват, сложение крепкое. Лет, должно быть, около 25, уже не мальчик, но молодой человек. Волосы каштановые, немного вьются. Руки изящнее, чем я думал. Перекинулся с ним несколькими словами. Вначале он смотрел на меня — заметил ли я его присутствие, — затем, однако, появлялся возле нас редко; сервировал в основном говорящий по-французски итальянец в черной бабочке, а его допускал только изредка для незначительной помощи. — После этого чувствовал себя очень взволнованным и радостным в покое моей комнаты. <...>

Цюрих, Дольдер, понедельник, 10.VII.50.

<...> Испытываю гордость за мою невзирающую на возраст витальность, равно как и за все это эмоциональное событие. Банальная активность, агрессивность, попытки разведать, каковы его собственные желания и как далеко это может зайти, не имеют никакого отношения к моей жизни, жизни, которая нуждается в тайне. К тому же для этого нет никакой возможности и удобного повода. Неприятие *очень сомнительной в предлагаемых ею возможностях счастья действительности* *. Вчера с Кальзером о невероятно распространенном здесь гомосексуализме и о Вельтерли<не>, который чересчур активно использует свое положение. Странно, что дело не доходит до скандала. — — <...> Днем посетил К. В 5 часов снова поехали <в ее госпиталь. — И. Э.> в Хирсланден. Эрика паковала вещи К., которая впервые была в дорожном платье. Книжки и сладости в подарок медсестрам, которые вышли к машине, когда я вел К. Поездка сюда наверх.

Цюрих, Дольдер, вторник, 11.VII.50.

<...> Отъезд в Сильс-Мария уже близок. Никак не выйду из нервного состояния полунедомогания. — <...> Все пронизано и затенено неутоляемой печалью о юноше; боль, любовь, нервное ожидание, ежечасные мечтания, рассеянность, мука. Мельком видел его лицо, это меня опьянило, поднимаясь сюда в лифте. Он и знать обо мне ничего не желал. Его интерес к моему участию, мне кажется, угас **. Мировая слава и без

* Ср. в „Признаниях авантюриста Феликса Круля”: „Не ведающий сомнений инстинкт противился такой дареной и к тому же подмоченной действительности, предпочитая ей царство игры и мечты, то есть самовластие фантазии” (VI, 484). Из этих соображений Феликс отклоняет предложение лорда последовать за ним в Шотландию и поселиться в его замке. Он следует здесь „инстинкту”, жизненному чувству авантюриста и художника: в выборе между „самовластием фантазии” и „сомнительной”, „подмоченной” действительностью он един со своим автором. Таким образом, Томас Манн как существо эмоциональное перевоплощается в этом эпизоде в лорда Килмарнока, а как существо духовное живет в своем герое-авантюристе. (Примеч. перев.)

** Ср. в „Признаниях...”: „Не подлежало сомнению, что встречи со мной несколько раз на дню шли лорду во вред. Но я не мог <...> сделать их безвредными, хотя изгнал из своего обращения оттенки ласковой предупредительности, стал холоден и официален, ранил чувства, мною же возбужденные” (VI, 478). Ироничными устами своего юного героя Томас Манн оценивает здесь себя как малого ребенка или неискушенную девицу, которым то или иное отношение окружающих может пойти „во вред” или во благо, сбить с толку или вернуть в разумные рамки. Он сам, таким образом, становится в романе объектом педагогической работы, а его смятенные, расстроженные чувства — объектом „воспитания чувств”. В этом самодистанцировании и самовоспитании мы видим ярчайший пример его духовного господства над собственной судьбой — того, о чем Т. Манн писал еще в дневнике 1918 года: „Некий культ своей судьбы позволителен художнику, и дистанцировать эту судьбу, преобразуя ее в художественное произведение, есть по-настоящему объективный, т. е. мужской род субъективности — это тоже способ, и не худший, быть духовным господином своей судьбы. В этом заложена даже определенная воля к приключению, авантюре <...> Я сделал из своей судьбы <...> роман, материал которого принадлежит по большей части моей фантазии и духовным хозяином которого я являюсь” (5.XI.1918). (Примеч. перев.)

того достаточно для меня безразлична, но рядом с его улыбкой, взглядом, мягкостью его голоса она вообще теряет всякое значение! Платен¹⁶ и другие, среди которых я не последний, переживали это со стыдом, болью и чувством уныния, в которых, однако, была и своя гордость. Сколь незначительна при этом воля к осуществлению. В конце концов, ведь существуют возможности целеустремленно следовать чувству, подгадывать встречи. Если бы я утром сразу оделся и завтракал на террасе, легко могло выйти так, что он бы меня обслуживал. В том, что меня удерживает, кроме страха потрясения и вынужденности хранить тайну есть еще и удобство, уют — воля, противовесная активности и предприимчивости, — несмотря на всю взволнованность! — Еще три дня, и я вообще больше никогда не увижу этого юношу, забуду его лицо. Но не это приключение моего сердца. Он принят в галерею, о которой не сообщит ни одна „история литературы” и которая, через Клауса Х., ведет назад к тем, в царстве мертвых, — Паулю, Вильфри и Армину.

Цюрих, Дольдер, среда, 12.VII.50.

Спал очень хорошо с помощью таблеток — поначалу несколько часов в кресле. <...> Корреспонденция. Очень приятный отзыв о французском „Фаустусе” в „Лез этюдес”, Париж. Подчеркнут религиозный элемент. Цитата из одного моего письма автору отзыва. С К. и Голо в лесу. Немного прошелся в глубь леса в одиночестве, в то время как они ждали меня на скамейке. Ланч с Голо, без Эрики. По благоприятному стечению обстоятельств вышло так, что юноша почти всю трапезу обслуживал столики поблизости. Улыбки. Я показал его К.: „Вот этот с Тегернзее”. Смешки и кокетства. Окликнул его Францлем. Попросил еще салату. Он обслуживал с вежливым изяществом, которое доставляет ему профессиональное удовольствие. Спросил о его перспективах в Женеве. „Все еще нет места”. Именно это я и ожидал услышать. Зажег мне сигарету. Ожидание, пока разгорится спичка в его согнутой руке. Улыбки. Снова глубоко восхищен его лицом, его голосом. К. нашла его глаза очень кокетливыми. Сказал ей, он давно знает, что я питаю к нему слабость. Потом он исчез. Был очень счастлив и взволнован таким радостным и простым проявлением в отношениях. <...> Перед обедом прощание с Голо, который едет в Италию. Когда шел с К. из ресторана, встреча с тем. Поприветствовал его совершенно ненужным „хэлло”, на что он лишь серьезно и недоверчиво ответил поклоном. Сумрачно и снова мучительно. Нужно больше присутствия духа. Дать ему 5 франков за его искусное обслуживание сегодняшним днем было бы верно. Страх, что больше не выдастся подходящий случай доставить ему радость. — Серьезное письмо Эрики Кнопфу. Подписал. — Читал Шпиттелера¹⁷. — Заснул с мыслями о любимом, так же как с мыслями о нем проснулся. „Словно там, где мы любили”¹⁸. Да, и в 75 — все еще. Еще раз, еще раз! И как похоже все это на былое, с его горестями и его просветлениями.

Цюрих, Дольдер, четверг, 13.VII.50.

<...> Письмо писателю О. М. Фонтана в Вену. Оставался затем в саду за чтением. Эмми Опрехт присоединилась ко мне. Аперитив с парой, К. и Эрикой в зале. Обед впятером за угловым столиком. Отчасти снова обслуживал юноша. Я был усталым, болезненным, угнетенным и нервным из-за его присутствия. Серьезно. Мне было мучительно, и я не принимал участия, когда Эрика сказала о кельнере: „Этот господин

¹⁶ Платен — выдающийся немецкий поэт граф Август фон Платен (Платен-Халлермунд; 1796—1835). О гомосексуальности Платена свидетельствуют, в частности, его дневники.

¹⁷ Читал Шпиттелера. — Карл Шпиттелер (1845—1924) — швейцарский теолог и писатель, нобелевский лауреат 1919 года.

¹⁸ „Словно там, где мы любили” — строка из стихотворения Гёте „В настоящем — прошедшее” („Западно-восточный диван”, „Книга певца”).

из Мюнхена” и т. д. Глубокое страдание. Отсутствие аппетита *. Был рад, когда вслед за К. гости ушли и я был предоставлен самому себе в его обществе. Один раз он стоял совсем близко ко мне, и я попросил его принести томатный суп. Его очень учтивая реакция. Он подал с изысканной заботливостью. Неожиданно он подбежал и поднес мне спичку к сигарете. Мой взгляд был усталым. Я видел, как он довольно рискованно потешался над разряженной, как привидение, тощей старухой, принадлежавшей к национально неопределимой компании за соседним столиком. Он глядел и смеялся про себя, сохраняя внешнюю почтительность. <...>

Цюрих, Дольдер, пятница, 14.VII.50.

Несколько часов глубокого сна. Проснулся рано с чувством утраты. Сегодня нужно паковать багаж. Для этого около одиннадцати придет мюнхенско-кюснахтская ¹⁹ Мария. Я не знаю, будет ли еще благоприятная возможность сказать ему „адье”, пожелать всего лучшего. Кончено. Возможно, уже кончено, и это будет, пожалуй, облегчением — возвращение к работе как эрзац счастья: так должно быть. Это участь (и происхождение?) всякого гения. — — Кое-какая корреспонденция. Мария. Начали паковаться. Очень тяжелый воздух. Был на террасе, на веранде. Дождь. В основном обслуживал Францль. Спокойная дружеская беседа с ним о планах насчет Женевы, рекомендации, написанной для него другом, сыном хозяина одного здешнего отеля, директору отеля Дю Рон. Сообщение о нашем завтрашнем отъезде. „О!” Несравнимо милое лицо. Был вполне счастлив (*sic venia verbo*) и успокоен после этого. Чувство утешительной гармонии. О Сильс-Мария, Энгадине ²⁰ он ничего не знал. Пришел снова и пожелал нам хорошей погоды там наверху. — За чаем был в зале с доктором Байдлером и одним его другом-политиком. Юноша один раз, проходя мимо нашего столика, воспользовался случаем, чтобы дружески меня поприветствовать, на что я сердечно ответил ему через головы разговаривающих о Корее гостей. — Паковались. — В 8 часов ужин. „Он” был в зале. Когда я уходя поднимался с К. по ступенькам, он стоял, явно поджидая, возле лифта и хотел проститься с нами. Мы долго жали друг другу руки. Он: „Если нам больше не придется увидеться”. Я не нашелся ничего ответить, кроме: „Францль, всего доброго! Вам уже нужно идти!” Он не был совершенно бесстрастен. Несравнимо милое лицо. Пospешил к лифту, сказал, пока мы входили, еще раз своим тихим, мягким голосом: „До свидания”, на что я больше ничего не сумел ответить. <...> В счастливом расположении духа хвалил Эрике то, как мило он прощался. Рад, что под конец на все снизошла некая гармония. Болезненно и благодарно растроган. Должно быть, он почувствовал мое расположение — исподволь, даже то нежное, что в нем было, — и обрадовался ему. Он видел, с какой почтительностью Байдлер прощался со мной в вестибюле **. То, что он меня покори́л, должно плодотворно сказаться на

¹⁹ ...мюнхенско-кюснахтская Мария. — В Кюснахте на Цюрихском озере Томас Манн жил в первые годы своей эмиграции. Мария — служанка Маннов.

²⁰ О Сильс-Мария, Энгадине... — Энгадин — высокогорная населенная местность в Швейцарских Альпах, кантон Граубюнден. В одной из деревень Энгадина, Сильс-Марии, в летние месяцы 1881—1888 годов жил Фридрих Ницше.

* Можно предположить, что этот реальный эпизод Томас Манн держал перед глазами, работая над следующей сценой: „— Что делать, нет аппетита, — отвечал он (лорд Килмарнок. — *И. Э.*). — И никогда не было. Я всю жизнь испытывал отвращение к приему пищи. Возможно, это признак известного самоотрицания. <...>

В его взгляде, как всегда, было что-то принужденное, *преодоление чего-то мне неизвестного* (курсив мой. — *И. Э.*). Только на этот раз я видел, что усилие такого преодоления ему приятно” (VI, 477). Здесь очень показателен чисто манновский внезапный, но исподволь подготовленный и обоснованный переход „пустячной” бытовой детали в глобальное, характеристичное обобщение — мотив „самоотрицания”, который — теперь мы это знаем — во многом определял внутреннюю жизнь самого Томаса Манна. (*Примеч. перев.*)

** Ср. в „Признаниях авантюриста Феликса Круля”: „...ибо здесь я столкнулся <...> с личностью, чьи чувства немало весили на весах человеческих, так что я не мог советовать ему юмористически отнестись к ним или сам над ними подсмеиваться. Не знаю, как другие, но я этого не мог (курсив мой. — *И. Э.*)” (VI, 474). Последняя фраза — почти внелитературного свойства: как ключ к шифру, возвращающему нас от лорда Килмарнока к Томасу Манну. (*Примеч. перев.*)

его уверенности в своих силах, возможно даже более чем. Вероятно, подобное с ним еще не случалось. Можно быть почти уверенным, что я его никогда больше не увижу и ничего не услышу о нем. Живи в вечности, ты, пленительная поздняя, волнующая любовная мечта! Мне осталось еще немного пожить, еще немного сделать и умереть. А ты еще созреешь в своей глубине и однажды уйдешь тоже. О, непостижимая жизнь, утверждающая себя в любви!

Сильс-Мария, воскресенье, 16.VII.50.

Он принял близко к сердцу, он почувствовал мою любовь и оказался достаточно горд для того, чтобы в некоторой степени ответить на нее и ощутить прощание по-настоящему*. В лифте он сказал напоследок: „Может быть, все-таки еще когда-нибудь увидимся, герр Манн”. (Обращение мне не понравилось.) Но как мне жаль, что я не нашел в себе достаточно спокойствия, чтобы сказать ему в ответ еще что-нибудь сердечное. „Я надеюсь. Мне всегда было приятно видеть вас”. Бежать! И все же прощание было утешительным и осчастливливающим. — <...> Холодно. А вчера вечером была жара. Не совсем понимаю, чем мне следует заняться. Вид на озеро и горы мало говорит мне, хотя вчера путешествие через Швейцарию, как всегда, сердечно меня порадовало. Мысли моей „последней любви” непрерывно наполняют меня, вызывая в представлении всю подпочву и подоплеку моей жизни. <...> — План послать оставшемуся вдали почтовую карточку с просьбой, чтобы он известил об успехе своих жене-вских намерений, и сказать ему: „Я не забуду вас”.

Сильс-Мария, понедельник, 17.VII.50. Вальдхауз.

<...> С четырех часов снова беспокойство. Утром негодование из-за перебоев с водой. (Нет напора; ожидание горячей воды.) Чай — завтрак на балконе. Очень холодно. Переписал заключительные слова из „Моего времени” для выставки автографов в Геппингене, Вюртемберг. Написал еще и другое. Написал следующее оставшемуся вдалеке: „Господину Францу Вестермайеру, служащему гранд-отеля Дольдер, Цюрих. Дорогой Францль, я был бы рад услышать от Вас о письме Вашего друга директору отеля в Женеве: отправлено ли оно или даже, быть может, уже привело к желаемому результату. Если я сам могу быть Вам полезен какой-нибудь рекомендацией, сообщите мне, пожалуйста. Я сделаю это с большим удовольствием. — С дружескими приветствиями Т. М.”. — Сухой документ участия? Ответит ли он? И как? Естественно, писание дается ему с трудом. И все же как хотелось бы мне получить хоть что-нибудь, вышедшее из-под руки, которая так сердечно пожимала мою.

Сент-Мориц, вторник, 18.VII.50. Сювретга-Хауз.

Стихи из молитвы Сибиллы вспомнились мне, как ни странно, только сегодня утром. Беспокойный сон, неустойчивые нервы, взволнованное сердце. При этом удовлетворенность удобством жилья с прекрасным видом на озеро, лес, высокогорье. — Вчера обед в ресторане гостиницы, который напоминает большой пароход. В зале за кофе разговор с Эрикой и К. о положении в Америке и нашем будущем там в случае войны и даже этой продолжающейся полувойны — при возрастающем шовинизме и

* И в романе напоследок и задним числом — тоже немного „утешительной гармонии”, немного мягкой иронии и добрых слов в свой адрес из уст Феликса: „Смею вас заверить, никакое время не изгладит из моей благодарной памяти дни, когда я вас обслуживал, давал вам советы, какие выбрать сигары, и радовался тому мимолетному участию, которое вы во мне приняли. И кушайте побольше, милорд, если мне позволено просить вас об этом! Ибо ни один человек на свете не в состоянии сочувствовать вам в вашем самоотрицании.”

Вот что я говорил, и какое-то благотворное действие мои слова все же на него оказали. <...> Затем он повернулся и вышел. У меня нет слов, чтобы описать деликатность и великодушие этого человека” (VI, 486). И на этом лорд Килмарнок покидает повествование, с британской невозмутимостью навсегда исчезает из поля зрения, оставляя иллюзию, что он был всего лишь странным и случайным персонажем мирового театра, и унося с собой тайну своей идентичности с автором. (Примеч. перев.)

преследовании всякого нонконформизма. Лишение паспортов довольно безопасно, раз они не общегражданские. По словам Эрики, Голо считает, что мы сейчас вообще не должны возвращаться. Мысль о повторяющейся эмиграции маячит уже давно, и этот дневник возвращается до некоторой степени к своему началу — Арозе 1933-го. <...> — — Написал письмо по-английски. Делал заметки к Грегориусу. Под полуденным солнцем немного прошелся с К. по лесной дорожке. Ланч в ресторане. Снова разговор о нашем положении и будущем. Очень живо вспоминается Ароза 1933-го. И все же я снова думаю, что при моем положении в Америке, многих друзьях, которые у меня там есть, самым разумным было бы возвратиться домой, отказаться от всякой политики, создать еще что-нибудь стоящее и переждать происходящее. В случае мировой войны Европа не менее страшна. Всюду живешь наудачу. — <...> Получил от Мюленштайна его переводы из Микеланджело (вместе с оригиналом), которые глупо затронули меня своей трагической смятенностью и болью любви.

Perche pur d'ora in ora mi lusinga
La memoria degli occhi e la speranza
Per cui non sol son vivo, ma beato...

„Воспоминание о глазах и надеждах, которыми я не только жив, но и счастлив”.
И еще многое другое! —

Сент-Мориц, среда, 19.VII.50.

La forza d'un bel viso a che mi sprona?
Ch'altro non e ch'al mondo mi diletta!

Быть может, более, чем я осмелюсь верить,
Твой дух, который это пламя зрит,
Меня немой взаимностью дарит.

Nel vostro fiato son le mie parole.
В твоём дыхании мое родится слово.
Ch'all alte cose nuove
Tardi si viene e poco poi si dura.
Природа так, лепя за ликом лик,
В тебе пришла к божественной вершине.

<...> Поднялся около восьми после довольно спокойной ночи. Что меня сейчас особенно привлекает в тех стихотворениях, это „полноправие” старости в любви, которое я разделяю с меланхоличным ваятелем, как и с Гёте и Толстым. Чрезвычайно стойкие натуры. „Я стал себе дороже, чем бывало, с тех пор, как ты здесь — на сердце моем”. — — Вчера еще много об Америке и нашем будущем, по поводу невозвращения, о посредничестве Неру, злосчастном страхе правящих там перед своими националистами, Маккарти и его терроре. Они едва ли смогут повернуть назад, едва ли примут китайскую народную демократию в ООН, а это все же необходимость. <...> Вопреки всему я склоняюсь к возвращению, спокойной позиции, работе, выжиданию. Мы не отрезаны от нашего фундамента, как в 1933-м. Стоит мне подумать о выставке в Йеле²¹, поведении людей в Вествуде (магазин Барбера и т. д.), как мне не верится, что нам будет там так же неприемлемо, как было бы в 1933-м в Германии. —

²¹ ...подумать о выставке в Йеле... — Речь идет об одной из посвященных Томасу Манну выставок в библиотеке Йельского университета.

Сент-Мориц, четверг, 20.VII.50.

<...> — Стихи Микеланджело занимают меня с неослабевающей силой. Мне хотелось бы написать о них. Эта чувственно-сверхчувственная любовная болезнь, эта платоническая смятенность души, которая постоянно осмысляет свою подвластность прекрасному как любовь к Богу и духовному, эта грубость в описании собственного уродства, собственного жизненного ничтожества очень захватывают меня. — — Продолжил главу („Камень”). Пара почтовых карточек. Отсутствие почты, почти полное, в общем и частном. Если бы юноша в белой куртке знал, как я сгораю от нетерпения получить хоть пару строчек от него, он бы немного поторопился с ответом.

Сент-Мориц, пятница, 21.VII.50.

Встал около восьми. Ясное небо. Начал писать рецензию на стихи Микеланджело. <...> — К чаю поехали в Сильс к Гессе. Дорогой человек, со старым и худым лицом. О его письмах. Попросил, чтобы я ему почитал дальше из „Грегора”. — Письмо Агнес Мейер, отчасти очень комичное в ее американской наивности. — 700-летний юбилей Веймара. Нужно что-нибудь написать. — Почта по недоразумению шла из Дольдера в Вульперу, а не в Сильс. Это, однако, не имеет отношения к отсутствию ответа юноши. Почему он не пишет мне, что почтён и обрадован? Любимый болван! А я? „В твоём дыхании мое родится слово”!

Сент-Мориц, суббота, 22.VII.50.

Писал „Микеланджело”. <...> Много почты из Пасифик Пэлисейдс и из Вальдхауза. Много чтения, в том числе и газеты. Брошюра доктора Э. Хоффмана из Граца: „Т. М.: патолог-терапевт?” Не обижаюсь на всю его „амбивалентность” и порицания потому, что он видит в „Фаустусе” потрясающий документ автопортретирования, который можно поставить в ряд с великими исповедальными произведениями мировой литературы. <...>

Сент-Мориц, среда, 26.VII.50.

Слишком долго спал. Ванна и одевание вперемежку с завтраком. Спешу сесть за работу. — После двух великолепных дней облачно. — Продолжал работать над статьей, которую я люблю. — <...> С послеобеденной почтой одновременно корректура „Моего времени” из журнала Харпера, в которой сделано только одно маленькое изменение из - за Кореи, и — милое, простое письмо от „Францля Вестермайера”. Так он себя называет, клоня к тому, что я его всегда так называл. Он „действительно очень обрадовался, что я думал о нем” (думал о нем). Получил свое место в Женеве, однако должен еще до конца сезона оставаться в Дольдере. Еще раз сердечно благодарит за все. — Письмо, содержащее маленькие грамматические ошибки, раскрыл и читал под рукой во время разговора. Был тронут и счастлив, что он „действительно очень обрадовался”, в чем я ему верю. — Обед с Требитчем. Его комическое удивление по поводу политической осведомленности Эрики. — Просмотрел старые главы „Грегора”.

Сент-Мориц, пятница, 28.VII.50.

Встал чересчур поздно, около половины девятого. Ясное небо. Во мне остались слова: „Я действительно очень обрадовался, что Вы думали обо мне”. Кстати, ничего нет для меня милее, чем когда Эрика шутит по поводу тех дней, разговоров с ним, подарка в 5 франков и т. д. — <...> Большое вечернее общество у Мотшанов. <...> Удивительный кот Опелей: родился в концлагере белым, но постепенно стал полосатым, вероятно, из-за тюремных решеток.

Сент-Мориц, воскресенье, 30.VII.50.

В полтретьего ночи бродил по коридору; услышал вдали музыку и пошел к дальней лестнице, где некоторое время слушал, перегнувшись через перила. Внизу еще танцевали. Проспал и встал только в 9. Быстро принял ванну и позавтракал, одеваясь. — Закончил статью „Эротика Микеланджело”. <...>

Сент-Мориц, понедельник, 31.VII.50.

<...> Эрика перепечатала статью о любви. Редактируя, разочаровался в ней. А я работал с таким пылом. Теперь она кажется мне вялой и не очень хорошо написанной. <...> — Пришли экземпляры „Моего времени” брошюрой из нового издательства „С. Фишер”. Читал и был удовлетворен больше, чем эротической статьёй, которая все же была мне куда ближе. „In tuo fiato son le mie parole”. Это останется мне.

Сент-Мориц, среда, 2 августа 50.

Непрекращающийся дождь. Темно. Искусственный свет. — Простудился, насморк. — Неясность нашего будущего. — Как я провел здесь дни?! Статья о любви кажется совершенно ненужной <...> Ожидание новостей о ходе первого заседания Совета Безопасности под председательством России. — <...> В книге о Ватикане. Неприязнь этого Бернхарта ²², которого я вполне раскусил, к Ренессансу. Восхищение Савонаролой, когда он перед этим говорит о „ригористах”. Бестия Гёте, как и всегда в католической культуре. <...> Обед (плохой аппетит) с Требитчем, который рассказывал забавные истории из своего кавалерийского прошлого. Его жена собирается с ним в Дольдер, чтобы еще раз повидать нас во время нашей последней остановки в Цюрихе. Намерение *не* подниматься с ними туда и передать привет юноше только через Эрику. Отречение. Лишний раз лучше не надо. — Свара в Совете Безопасности. Неловкость русских, которые никогда не умеют найти верных слов. Притупленность нравственного чувства. — <...> Разоблачения „дела” с греческим лагерем <лагерь для ссыльных на острове Макроннисос. — И. Э.> и „оврагом” в нем. Вызывает ужас. Мы терпим это; но не терпим ничего „большевистского”. <...>

Сент-Мориц, четверг, 3.VIII.50.

Редактура и сокращения статьи о Микеланджело. <...> Письмо Адорно вместе с отдельным оттиском о Гуссерле, в котором я ничего не смыслю. Пишет о книге Х. Майера. Считает возобновление Байрёйта ²³ и возвращение Хайдеггера в состав академии опаснейшими симптомами. <...>

Сент-Мориц, пятница, 4.VIII.50.

<...> Состояние нервов не очень улучшилось. Не хватало еще, чтобы я снова увидел юношу! Соблазн тем не менее велик. — Адорно рекомендует возвращение в Америку ради устоявшегося там жизненного уклада, который единственно плодотворен для работы. — История, личность, деятельность Лютера хорошо описаны Бернхартом. Так же и в том, что касается Эразма. Боюсь, что никого не удовлетворяющая, хотя и выдающаяся роль последнего родственна моей. <...>

Сент-Мориц, воскресенье, 6.VIII.50.

<...> — Красота издали. *На теннисной площадке внизу* в определенные утренние часы молодой аргентинец, и так превосходный игрок, совершенствуется с тренером. Темные волосы, лицо не вполне различимо, стройного, удивительного сло-

²² Неприязнь этого Бернхарта... — то есть книги Йозефа Бернхарта „Ватикан — престол мира”.

²³ ...возобновление Байрёйта... — Речь идет о вагнеровском фестивале в городе Байрёйте.

жения, ноги Гермеса. Размашистые удары, артистичное обращение с мячом, шаги, бег, прыжки, задорное пританцовывание, когда есть к тому повод. Упругая беспокойность корпуса, сменяющаяся полной инертностью на скамейке. <...> — Боль о том, в Дольдере, под влиянием воздуха, прекрасного ландшафта, душевного подъема, смешанного с недомоганием, которое на меня здесь навалилось, углубилась и усилилась в эти дни до всеобъемлющей печали о моей жизни и ее любви, об этом лежащем в основе всего безумном и все же страстно утверждаемом восторге перед *несравненным, ничем в мире не превосходимым* очарованием мужественной юности, которое издавна — мое счастье и беда; невыразимо, восхищенно и немо; никаких „promesse de bonheur”, а только потребность, не слишком определенная, желанно-недоступная желанию. — Подписывая экземпляр, перечитал главу „О красоте” в „Юном Иосифе”. Шутки о наиглубочайшем во мне. Иллюзорное, неуловимое, как облако, непостижимое и все же болезненно-восторженнейшее, бессмыслица и заклятие — фундамент творческой потребности. — — „В твоём дыхании мое родится слово”.

<...> — Старик Требитч увлечен Эрикой. Читал ей влюбленное прощальное стихотворение. „И *это* со мной должно было случиться еще в 80!” Что ж, ему хорошо. — Эрика указала в ресторане на одного молодого человека вполне заурядной наружности, предположив, что это и есть теннисный бог. Светлячок на раскрытой ладони. Иллюзия! Иллюзия! Старику Требитчу куда лучше. Характер, дух, личность, остроумие, одаренность и к тому же прекрасные глаза влюбили его по уши самым законным и галантным образом. Завтра он уезжает. — <...> Очень смущен всем написанным и ненаписанным. <...>

Цюрих, Бор о лак, суббота, 12.VIII.50.

<...> Часто думаю, что я в этой поездке слишком много *забывался*, — ради юношеского очарования, красивых лиц. Это на самом деле лишает чувства собственного достоинства, делает старым и тяжелым, болезненным и завистливым — чему уж никак не позавидуешь. Теперь туда же, в состояние истощения чувств, затягивают насущные жизненные вопросы калибра 1933 года, и некоторым образом даже более тяжкие, особенно потому, что мы так постарели. Глубокое нежелание лишать себя поддержки, которую в нашем возрасте, во всяком случае в моем, означает Эрика. — <...>

Цюрих, вторник, 15.VIII.50.

<...> — Около полудня с почтой (швейцарский отрывной календарь со статьей Фидлера обо мне) сидел в саду на затененной скамейке. Затем последняя поездка с Эрикой в „минксе” вверх в Дольдер, в гости к Требитчам. Ланч с ними в ресторане. Обслуживали незнакомые. Похоже, Эрика под предлогом телефонного звонка позвала юношу сказать нам „добрый день”. Он был занят чем-то в служебном помещении ресторана, пока мы с Требитчем шли к столу. Мои глаза все время искали его, но не решались поверить, что это он. „Да это же Францль!” Он подошел. Рукопожатие, радость. „Это же прекрасно, что снова увиделись!” Его очаровательное, игривое и все же при этом взволнованное выражение лица и движение головой при изустном повторении: „Я действительно *очень* обрадовался вашему письму!” Я радовался его хорошим новостям. Но они тем временем стали плохи. Вакансию в Женеве нужно было занимать немедленно, а он связан до конца сезона с Дольдером. Так что „он стоит перед ничем”. Я участливо дотронулся до его руки. Ну, найдется что-нибудь другое. Видел его лицо во всех подробностях: <...> чуть раскосые посаженные карие глаза. Крепкая голова и туловище при некой детской нежности его существа, манеры говорить. „Как я писал вам: если я каким-нибудь образом могу быть вам полезен”. — Попросил его написать мне о том, как будут продвигаться его дела. Попытался объяснить мой адрес.

Он положился на то, что узнает его у администрации... <...> Сильное дружественное рукопожатие при прощании. — <...>

Цюрих, среда, 16.VIII.50.

<...> — Вчерашняя встреча сильно сказывается на душевном настрое. Сущность любви — в удивительнейшем, прокладываемом симпатией упразднении физического неприятия другого существа: не остается никакого отвращения к слишком близкому соприкосновению, к чуждой телесности. <...> Это первично, однако сейчас только становится желанием. Не обязательно сильным желанием и вожделием, страстью. Это может продерживаться и в негативном, в отсрочивании телесных взаимоотношений, оставаться нежностью, короче, тем, что называют „душой”. — Не уверен, так ли это. Счастье реального соединения и объятия очень сомнительно. — <...>

Лондон, воскресенье, 20.VIII.50.

День возвращения в Америку. <...> Настроение у меня горькое, фаталистичное, готовое к худшему, но перспектива обрести в нашем доме покой позитивна. Апатичный и усталый от волнений, я надеюсь там за несколько месяцев завершить роман, что всего важнее. <...>

Нью-Йорк, понедельник, 22.VIII.50. Отель Сент-Реджис.

<...> Переезд был действительно дикой авантюрой. Читал „Подростка” Достоевского в переводе Корфица Хольма, который мне кто-то подарил. <...> Полная поглощенность страстями, любовными заботами, более или менее освободиться от которой можно только с помощью творчества. Оно же, однако, в конечном счете — то, что всех нас кормит, и поэтому жизненно важно, чтобы я как можно скорее дописал дома Грегора до конца. — <...> Внезапное явление Агнес Мейер, которая намеревается отправиться в Европу, в том числе и в Германию, где хочет заниматься исследованиями и читать лекции. Предсказывает полную милитаризацию этой страны, в чем она, однако, не желает видеть приметы военной диктатуры. Несет поверхностную чушь, как и всегда. Поцелуй на прощание. — <...>

Нью-Йорк, вторник? 23.VIII.50, Ст. Реджис.

Вчера вечером ужинали с Коллином (и Моникой) в ресторане, возле кинотеатра, где крутят „Трудные времена” — итальянский фильм, на который Коллин нас, явно с пропагандистскими целями, захотел повести. Чувствовал себя неважно и заказал только минестроне и чай. Фильм не без достоинств, однако не так хорош, как „Похитители велосипедов”. После этого был переутомлен, поторопился домой, принял 1,5 панадорма и сразу лег в постель. — <...>

Чикаго, Шорланд, пятница, 25.VIII.50.

<...> — Тоска и тяжесть. Глеют воспоминания о виденной и возлюбленной юности. O Dio! O Dio! O Dio! Раненое сердце. In vostro fiato son le mie parole. Это не выходит у меня из головы, глаза, ноги Гермеса, la forza d'un bel viso. — Это последняя остановка на долгом обратном пути, цель еще далека, и все достаточно ненадежно. Неясность будущего. Хотелось бы, чтобы оно предоставило мне достаточно покоя, чтобы я мог рассеяться в работе и собраться для работы, которая меня по-прежнему больше, чем что-либо, привязывает к жизни. Хотелось бы, чтобы скорее приехала Эрика! Хотелось бы снова увидеть Фридо! Возможно, хотелось бы еще раз написать юноше из Дольдера! — Взгляд на озеро вдали, берег, деревья, улицу со спешащими автомобилями. Слишком много страдал, смотрел разинув рот и восхищался. Слишком много

позволял миру дурачить меня. Не лучше ли, чтобы всего этого *не* было? Это *было*, и рукопожатие, это „Я действительно *очень* обрадовался” останется мучительным сокровищем. — Для чего я пишу все это? Чтобы еще раз перед моей смертью вовремя уничтожить? Или я хочу, чтобы мир *знал* меня? Я думаю, он и без того знает обо мне больше, по крайней мере среди сведущих, нежели мне в том сознается. — —

Чикаго, воскресенье, 27.VIII.1950.

<...> В 7 часов ужин с Боргезе ²⁴, Петером Принсгеймом ²⁵ и Калером ²⁶, который приехал сюда. Меди ²⁷ — добросовестная хозяйка. Поведение, безудержное эгоцентрическое бахвальство Боргезе, его монологи невыносимы и для Меди мучительны. — <...> Мне предстоит канитель долгой дороги в Лос-Анджелес, в которую мы отправляемся вечером. Но и она размотается до конца. Возвращение через sunset ** (без Эрики) состоится, мы оседем в привычном, а там посмотрим... Я не вправе забывать, что подо всей мукой и болезненностью моей жизни заложена солнечная, благословенная основа, прорезывающаяся уверенно и полноправно. — —

Здесь, пожалуй, следует остановиться. Ибо так же, как это бывает в романах Томаса Манна, мотивы и темы этих дней и недель, описав вариационную дугу, пришли к своей очередной кульминации, к тому главному и центральному, что примиряет их друг с другом и со всей его жизнью, скрепляет эту жизнь в цельное и, несмотря ни на что, благословенное единство. Это — идея избранности, отмеченности „земным и небесным благословениями”, которая „и в 75” заявляет о себе столь же „уверенно и полноправно”, как это было и в двадцать, в той юношеской новелле „Паяц”, где мы впервые встречаемся с нею: „Есть на свете род людей, видимо, любимцы Господни, чье счастье в их одаренности, и эта одаренность дает им счастье: лучезарные люди, с отблеском и отсветом солнца в глазах, легкой поступью, грациозно, чарующе и беспечно проходящие сквозь жизнь, и все теснятся вокруг них, все ими восхищаются, восхваляют их, завидуют им и любят, потому что и завистники не способны их ненавидеть. А они глядят на всех, словно дети, насмешливо, капризно, своенравно, шаловливо, с некоей солнечной приветливостью, уверенные в своем счастье и своей одаренности, и так, словно все это иначе быть не может...” (VII, 60—61).

Этот образ любимца судьбы, благословенного юноши-ребенка — самая постоянная из всех констант жизни и — как следствие — творчества Томаса Манна; в нем запечатлено нечто главное в нем самом: его „идеальное я”, мечта о самом себе. Как пишет исследователь Томаса Манна Ханс Вислинг, „не будь этой мечты, как смог бы он перенести свою жизнь, те моменты и годы, в которые он ощущал угрозу извне или свою собственную слабость? Тайна этой жизни в неприкосновенности, более того, нетронутости изначальной ее мечты о счастливой избранности”. Неприкосновенная эта мечта спустя почти столетия после „Паяца” снова воплотит „любимца Господня” из той новеллы в манновском Иосифе, манновском Гёте и Феликсе Круле. Однако пройдя через испытания длиною в жизнь, эта мечта приобрела характер психологической подлинности и реальности, это „идеальное я” стало мифологически-подлинным „я”. „Так как, — будем честны, — продолжает в 1896 году рассказчик „Паяца”, — важно,

²⁴ Боргезе Джузеппе Антонио (1882—1952) — итальянский историк и литературовед, муж младшей дочери Томаса Манна Элизабет.

²⁵ Петер Принсгейм (1881—1964) — физик, шурином Томаса Манна.

²⁶ Калер Эрих (1885—1970) — друг Томаса Манна, культурфилософ.

²⁷ Меди — домашнее имя Элизабет Манн-Боргезе (р. 1918 (умерла 8 февраля 2002 — прим. *ImWerden*)), в настоящее время — англоязычной писательницы.

кем себя считаешь, за кого себя выдаешь, за кого имеешь смелость себя выдавать” (VII, 61). Из зерна этой психологической догадки вырастет ко времени работы над „Иосифом и его братьями” манновская „формула мифа”, столь плодотворно и смело размывающая границы человеческого „я”, что иной, подобно препровождающему Иосифа в темницу слуге, вправе воскликнуть: „Откуда у тебя, несмотря на твой жребий, берется чванство, ведомо лишь богам, с которыми ты обходишься так, что человека благочестивого берет сразу и смех и оторопь, и кожа у него пупырится, как у гуся. <...> Однако пупырится она <...> главным образом <...> от негодования на твою наглость, на то, как ты позволяешь себе отражаться в самом высоком и смешивать себя с ним, словно ты — это оно и есть, отчего твое „я” образует в воздухе какую-то ослепительную дугу, при виде которой начинаешь раздраженно моргать глазами”.

Разумеется, всегда находились, находятся и найдутся люди, так же, как и слуга „Ха’ма’т из книгохранилища и из продовольственной кладовой”, раздраженно моргающие глазами при виде этой ослепительной манновско-иосифовой дуги. Однако несправедливым будет, подобно „Ха’ма’ту из книгохранилища и из продовольственной кладовой”, видеть в ней „неблагочестие”, „чванство”, нескромность. Так как то, что возвело вопреки всем законам притяжения и гнету тайных страстей эту „ослепительную дугу”, не есть ни одно из перечисленных и неперечисленных свойств, а сама жизненная необходимость. Эта зависшая над жизненным и духовным горизонтами „ослепительная дуга”, как магический мост, соединяет в творчестве Томаса Манна его идеальное и подлинное „я”, соединяет его творчество с его жизнью, а саму эту проблематичную, разную, мучительную, порою столь несолнечную, неграциозную, дисгармоничную жизнь в гармоничное „внутреннее единство”. „Это „внутреннее единство”, — как пишет Ханс Вислинг, — отвоено у настоящего, стремящегося к раздроблению и распаду и каждым своим жестом доказывающего, что такого единства больше не бывает. И добиться его, вопреки этому, означает триумф”.